

Замёрзшее ноябрьское солнце осторожно поднялось и удивлённо и ласково оглядело белую землю. За ночь выпал снег и сделал всё неузнаваемым. И поля, и станцию, и поселковую площадь перед клубом с вывеской «Дом культуры». А напротив у магазина на первом хрустком снежке толпились женщины. Стояли, сидели на завалинке — ждали ночного хлеба прямо из пекарни. Пришли в магазин загодя по белым прибранным улицам посудачить, новости разузнать, да и свеженького, тёплого хлеба взять.

Похаживают в тёплых шалях, в непривычных, ещё не притёршихся валенках, ногами постукивают, сумки-кошёлки в руках. Вдруг всполошились: — Везут! Везут!

Голубой фургон с хлебом, и правда, катил всё ближе по белой площади. Вот резко, круто затормозил под самыми окнами. Женщины шарахнулись:

— Ну, Гришка, — шальной!

Щёлкнув дверцей, вниз лихо выпрыгнул шофёр — ладный, живой малый. И женщины сразу запели вразнобой:

— Здравствуй, Гриш, здравствуй... Небось, горяченький? Не остыл? Прямо из пекарни?

— Привет, коли не шутишь, — Гришка с улыбочкой распахнул задние дверцы фургона. — А ну, бабоньки, налетай — помогать. Разгрузим. Кто скорее.

И те принялись помогать — буханки в деревянных подносах носить в магазин.

В магазине ещё не топлено, сумрачно, холодно. По полкам, по старинке, поскольку магазин не бизнес-класса, а государственный, бюджетный, ткани разложены, куртки висят разноцветные, рядом кроссовки стоят, а бакалея — справа: крупы, пряники. Продавец открыл на окнах железные ставни и нехотя пошёл за прилавок, товар принимать. А бабы, дыша белым морозным паром, одна за другой уже несли (кто в обнимку, кто на подносах) тёплый, живой, родной хлеб-хлебушко. От машины, вверх по ступенькам, и в магазин. И в магазин. Скрипит снег, скрипят ступени, скрипят внутри крашенные половицы под валенками. На ходу балагурят, смеются:

— Ты глянь-ка, глянь, Кузьмовна-то сколь подхватила! Эй! Не лопни, кума! Не надорвись!

А та, маленькая, в клетчатой шали, еле протиснулась в дверь с буханками, будто с охапкой дров. Понесла на прилавок стопку чуть не выше головы — продавца загородила.

— Андреич, слыш, Андреич? — заглянула в просвет меж буханок. — Дело у меня к тебе.

По сторонам глянула и тише:

— Сноху мою, молодуху, к себе не пристроишь? Таньку. Чего ей дома баклуши бить. Пристрой, а?

Продавца было не видно, только жилистая рука с карандашом ползала по бумажке.

— Пристрой, ради бога. Не станцию её жалко, чернорабочей-то посылать, холодно в зиму. Не рожала она ещё, молодая и городская, — шептала Кузьмовна. — Охота, где потеплее.

За буханками было тихо, потом раздалось:

— А в сети-то она работала?

— Да нет, — огорчалась Кузьмовна. — На заводе она была ученицей. Но добавила живо:

— С десятилеткой она, с аттестатом. А как же... Учёная.

— Таких учёных у нас вон полна дискотека. Всё прыгают, прыгают...

Верхние буханки продавец снял. Они гулко стукнулись о деревянную полку. Лицо у продавца было постное, безучастное, он шевелил губами — товар считал по накладным, сейчас ему не до чего было. Наконец промямлил:

— Мне не надо. А в частный сектор её не возьмут. Там везде все свои. Семейный подряд... Вон к Лизавете лучше сходи, в кафе, на станцию. Уж там куда как теплее.

Кузьмовна поджала губы и пошла молча к выходу. И хлеба больше носить не стала, чего зря стараться. Села на завалинку в очередь, ждать, пока всё примут, обдумывать положение.

И тут к магазину, звеня сбруей, фыркая от мороза, галопом подкатила рыжая лошадёнка, видно, впервые после осени запряжённая в сани. Ещё на ходу на снег соскочила Лиза, Лизавета, станционная буфетчица, — приехала тоже хлеб получать. Королевой стоит у фургона, как сахарная, полушалок белый, ажурный, шубка белая, смеётся, бумажку Гришке съёт:

— На-ка, распишись, Шумахер... Тридцать буханок.

Он было руки к ней протянул радостно. А она:

— И не тронь, чумазый! Не марай! А то как ляпну промеж глаз-то...

Подхватила с лотка, понесла к саням своим первые ароматные кирпичи. Крикнула всем весело:

— А ну, бабоньки, помогай! Чего встали?! Чего смотрите?

Но бабы ни с места, носы в сторону. А одна с укором:

— Ну, как же. Ты мужиков наших приваживать будешь да спаивать, а мы тебе — «помогай»? Ишь ты, язва какая!

Лиза хохочет, укладывает парной, душистый хлеб на свежую солому в сани:

— А ты его привяжи к юбке, «красавица». Чтоб не сбёг. Ты в зеркало-то на себя давно глядела?

И Гришка-шофёр зубоскалит:

— Да вырвется. От такой жинки как не вырваться?

Лизавета порхает от саней к фургону, считает вслух:

— Одиннадцать... четырнадцать...

Подошла Кузьмовна и так ей ласково:

— Давай-ка, Лиза, подсоблю. Давай, кормилица. Не надрывайся.

— Вот спасибочко, — щёки у Лизы-блондинки румяные, зубы белые. — Вот спасибочко за сознательность.

Кузьмовна сочувствует на ходу:

— Чего сама хлеб-то возишь? Нешто положено тебе, заведующей, самой надрываться? И в буфете, и по базам, и тут?

— Ой, и не говори, — вздыхает Лизка. — Третью подсобницу меняю. То в декрет уходит, то не сработались — с гонором. Торговля ведь дело тонкое.

И тут Кузьмовна остановилась в обхват с буханками:

— Слышь, Лиз. А ты сноху мою возьми. Таньку. Девка — золото. И покладистая, и шустрая. Прямо огонь.

Лиза сразу посерьёзнела, солидно села на край саней:

— Это та, что ль, маленькая? Что Витька из города привёз? После службы?

— Она, она, — обрадовалась Кузьмовна. — Из Томска. Он там ведь служил. Ну и склеились, и привёз вот к матери в дом. Я, конечно, не против. Но разь я всех на пенсию прокормлю? Правда, его вроде дальнобойщиком берут.

Лиза подбила жёлтую солому под себя с боков, в руки вожжи взяла, лукаво на Гришку-шофёра глянула:

— Гринь, взять, что ли, девку к себе? — И Кузьмовне: — Ты буханки-то клади, клади. И ещё пять штук осталось. А ты, Гринь, в магазин сходи, пусть дед распишется в накладной.

Кузьмовна угодливо притащила ещё пять буханок. Торопливо сложила. Уж больно ей хотелось пристроить сноху свою к делу.

Но Лизка дёрнула вожжи, и сани поплыли от Кузьмовны, потекли, словно вода из рук. Лошадь сразу двинулась ходко, вид первого снега тревожил её. Кузьмовна расстроилась.

Но Лизка всё же оглянулась, задорно крикнула издали:

— Ладно, пусть завтра с утра заходит! Погляжу на неё!

Над посёлком разливался голубой рассвет, и в домах уже горели ранние тёплые окна, когда Таня подошла к станционному буфету. Но не

со стороны платформы, у вокзала, а со станционной площади, с тыла, с подсобного входа.

Всю дорогу она бежала из Заречья по спящим улицам, боясь опоздать. Но у запертой двери на пороге пока лежал лёгкий снежок, нетронутый, мягкий, и вся мощёная улица и деревянные тротуары были белы и чисты. Как в праздник. Таня уселась на ступеньки — ждать.

Вон и фонари и те, что вдали, и у вокзала погасли. А хозяйки всё нет и нет. Таня ждёт, волнуется, как-то пройдёт этот первый её рабочий день, что расскажет она вечером мужу, свекрови. Ведь который уж месяц сидит без работы. Дома в городе к такому она не привыкла. С утра — на завод, как часы. Таня думала и чертила варежкой на ступеньке «Витя плюс Таня» — уж очень она любила своего новобрачного Витеньку — гвардии старшину. Так и не заметила, как подошла Лиза, оглядела её согнутую фигурку, тёмную чёлку из-под платка и по-хозяйски поднялась, протопала к своим дверям, чуть на варежку не наступила. Таня вскочила:

— Здравсьте! А я как раз вас жду.

— Здорово, коль не шутишь, — усмехнулась сверху Лиза, доставая из-за пазухи ключи, и, щёлкнув замком, со звоном откинула длинную щеколду.

— Ну, заходи, заходи, помощница.

И вот уже посреди пустого буфета Таня застилала столики голубыми клеёнками. Взмахнёт над столом клеёночкой, как ковром-самолётом, потом расправит, разгладит ладонками. По центру солонку поставит, горчицу.

— А Витюшка мой ничего и не знает, — говорит она Лизе весело. — Бог даст, из маршрута вернётся сегодня, а я, пожалте, тут как тут. Уже с работы иду. Вот удивится.

— А что ж, верно, нечего на мужиков надеяться. Хоть и замужем, а о себе самой надо думать. Нынче время суровое. И мужик пошёл гнилой, хлипкой. — Лизина голова в сахарной наколке на пышных волосах то появляется над стойкой, то исчезает, она за прилавком разбирает продукты. — И вообще девушке надо при деле быть. А то нынче шляются по земле без дела, и все со своими хотелками, с гитарами, смартфонами-телефонами. И всё им сразу подай. Угомон не берёт. А потом дети сиротами растут, в интернатах.

И горько вздохнула:

— Я тоже дурой была по молодости. Влюбилась. В одного такого трепача вляпалась. В альфонса. И Толечку родила.

За окном встаёт солнце. На стёклах цветёт розовый иней. И бумажные кружева на полках с продуктами становятся розами. И бумажные салфетки в стаканах, красиво разложенные Таней, тоже словно цветут. И такая благодать вокруг, что душа у Тани поёт. В буфете чисто, уютно, потрескивают дрова в печи и пахнет как-то особенно — хлебом, свежемытыми полами, тушёной капустой, сосисками.

Таня ставит греть воду, режет свежий, ещё тёплый хлеб, порой гладит ладошкой буханки. Так и хочется поцеловать их в румяные щёчки. Говорит из подсобки громко:

— А я на заводе в стаканном цеху ученицей была. Красота, конечно. Всё звенит, крутится, только успевай вертеться. И зарплата вполне подходящая.

— Ну, это ты зря. Денег много никогда не бывает.

Лиза её слушает и не слушает, взвешивает товар — открывать скоро. Народ повалит.

А Таня уже подносит ей стопку тарелок.

— Вообще-то, мне жить везде интересно. Мы с Витей сперва чуть в Заполярье не двинулись. У него в части сослуживец оттуда был. Чукча. Очень звал. Вездеходы по тундре водить. Там и яранги бесплатные, и надбавки северные. А рыба и оленина вообще даром. Мне интересно, конечно. Но Витечка мой упрямый. Домой да домой, говорит. Тут, мол, и мать, и хозяйство, колодец свой. Даже любимый пёс его ждал, — у неё мечтательные глаза. — И вообще, как говорит мой Витечка, надо жить с полным КПД. Верно ведь?

— Ох, детсад. Не с КПД жить надо, с КПД надо денежки зарабатывать. Как теперь говорят молодые? Надо «бобло рубить». Не слыхала? — Лиза качает своей пышной причёской. — Мой сынишка Толечка и то умнее тебя. — И подаёт Тане белый передник: — На-ка вот, сегодня мой надень, униформа, потом свой сошьёшь. — Улыбается: — И чтоб с полным КПД, ясно? А то живо от ворот поворот. У меня не заржавеет.

В зале буфеталюдно и уже душно. По стёклам течёт. Кругом пассажиры — гомон, разноголосица. Таня живо ходит меж столиков, на поднос собирает посуду грязную, вилки-ложки-стаканы. Вот и Гришка-шофёр пришёл, ест винегрет, у него тут свой интерес. Он всё на стойку пялится. Но Лизы ему не видно, только её сахарная наколка мелькает порой поверх голов и звонкий голос доносится:

— Котлеты — одни, сметана — одна, хлеб — триста. Следующий!

Таня стирает со столиков мусор, собирает тарелки, ходит, как Лиза, гордо поглядывая вокруг. Что ж, работа хорошая, и в тепле. Вот с мороза ввалились в буфет деповские девчата в рабочих, ярких, как апельсин, робах. Запахло бензином, шпалами, смазкой. Гремят в углу водой из-под крана, моют свои чёрные рабочие руки. Занимают сразу три столика, одну сразу в очередь посылают.

А Таня уже шурует в печи кочергой, слушает их грубоватые голоса. И к ним у неё почему-то особое уважение, даже почтение. У них и профессия, и зарплата, и опыт, а главное — судьба. И кажутся ей эти двадцатилетние очень взрослыми и на зависть самостоятельными.

Посуду со столов Таня носила и на кухню, и в подсобку. В обед в подсобке горы посуды. Только мыть успеваешь, и сразу же белые, чистые стопки обратно в зал, к Лизе за стойку. А та ей шёпотом, почти сердито:

— Ты больно-то не размывай там, чистюля. Не дома ведь. Не в больнице.

Народ к ней, и правда, буквально ломится, валит, особенно когда местные электрички приходят.

Вода из крана бежит в мойку. Таня берёт стакан, моет под струёй, ставит на чистый поднос. Приноровилась уже, и получается ловко, как на заводе поточная линия. Звенит крышкой чайник, звенят стаканы, а Таня, как в вальсе: берёт — раз, моет — два, ставит — три. Раз, два, три. Раз, два, три.

Иногда, стуча босоножками, забегает Лиза. То к плите кинется, то в холодильник нырнёт. То в СВЧ что-то разогревает. На ходу живо спросит: «Ну, как КПД у нас, девушка?» И Таня в тон ей весело:

— Как в стаканном цеху!

А по радио идёт производственная гимнастика. Эту старую-старую передачу у них в посёлке недавно возобновили. По просьбам жителей. И правильно. А то, у кого работа сидячая, например, за компьютером, — хоть плачь. Костенеет всё.

— «Встаньте прямо, поднимите руки на уровне плеч. — Таня тоже взмахивает руками, они у неё по локоть мокры. — Упражнение начали, и...раз-два-три, раз-два-три...».

Ну вот, значит, скоро обед. Уже и день деньской клонится. За белым морозным окном проехал из города синий рейсовый автобус, пробежали ребята с портфелями. Вторая смена. За вокзалом простучал товарняк на восток.

Иногда через открытую дверь Таня смотрит в зал на Лизу, любит, как та ловко орудует у стойки. Народу к ней не убывает: и шофёры, и транзитные пассажиры, и сцепщики. И все — Лиза да Лиза! Всем нужна Лиза, и все к ней с почтением. А она — как Хозяйка Медной горы: порой стоит, почти не двигаясь, только руки, как птицы, порхают от стойки к витрине, от витрины к полкам, к весам, потом к бочке с пивом. Серёжки вздрагивают, пальчики с маникюром по счётной панели живо щёлкают:

— Три бутерброда, треска, два пива. Всё? Сто девяносто. Сдачи — мелочи нету. Готовьте мелочь заранее, — купюры в ящик бросает, а на сдачу ириску бросила.

— Следующий!

В подсобке Таня чистит овощи: свёклу, картошку, уже третье ведро с утра.

— А что я придумала, — толкует она Лизе, та наспех ест винегрет столовой ложкой, прямо из общего бака. — Давай шторы на окна повесим, голубенькие такие. Я такой матерьяльчик в универсаме видела. В цветочек. Не дорого. Если хочешь, сама сошью. Я у свекрови все шторы-подушки пообшивала.

Тане очень хочется ей понравиться. Устроиться, наконец, на работу.

— Но главное, — советует она, — надо в зале иконку повесить. Божью Матерь или Иисуса Христа. В уголок. К потолку. Вы же крещёная?

Но Лиза жуёт, устало глядя в окно:

— Делать тебе, что ли, нечего? Я и так не чаю, как отсюда свалить. Вырваться.

У неё прямо ложка из рук валится от усталости.

«Нехорошо это, конечно, прямо из общего бака, — думает Таня, наливая ей чаю в стакан. — Но ведь и поесть-то толком некогда». А скажешь — обидится.

Лиза вздыхает:

— Есть у меня мечта одна, девонька. Голубая мечта. Я хоть пока и без мужика, но хочу развернуться. Открыть свой собственный бизнес. Салон

красоты. Бизнес-леди буду. Пред-при-ни-матель. И все местные вумэн-бабы будут ко мне в очередь рваться, записываться. — Вздыхает: — Только на раскрутку надо побольше бобла накопить. А тут разве накопишь? Тут так, гроши капают. Потому и мечтаю в вагон-ресторан устроиться. Вот дельце одно проверну и сдам эту точку к чёртовой матери.

Из зала доносится шум. У стойки ждёт очередь, но Лиза туда и глядеть не хочет.

— Думаешь, мне нравится улыбаться тут каждому? Думаешь, нравится? А надо. Потому — деньги нужны. Вон Гришка-шофёр на зиму дров подкинул? Подкинул. Значит, плати. Или же спи с ним. А на что он мне, вонючий, нужен? Завмаг моего Толечку в интернат устроил? Устроил. Опять плати. — И голос вдруг потеплел: — В первый класс пошёл мой Толечка. Палочки-нолики пишет.

Она помолчала и опять твёрдо, уверенно так:

— И хоть я мать-одиночка, а Толика выучу! Расшибусь, а выучу. Он у меня ещё учёным будет. Профессором. И особняк я построю, Пугачихи не хуже.

Стоит Лизавета, из бака машинально ест винегрет столовой ложкой, а в глазах такая тоска и что-то своё, далёкое, слёзное. Таня ещё не видела её такой.

— А вы бы замуж шли. Вы вон какая красавица. Любой возьмёт. Ещё выбирать будете.

Лиза усмехается горестно:

— Господи, да за кого у нас тут замуж-то выходить? За Гришку-водицу, что ли, голь перекатную? — в сердцах бросила ложку в бак с винегретом. — А солидные люди в администрации давно все женатые. Дворцы-хоромы возводят совместно с жёнами. И вообще все непьющие, порядочные, особо кто в бизнесе или при власти, давно разобраны. А отбивать, на разводы да на скандалы нарываться, уже поздно — это мы уже проходили... — Вздохнула. — Мне, голубка, сейчас для разбега, для начального капитала, вагон-ресторан нужен. Дальнего следования. «С—В». С цветами и абажурчиками. Да с «клиентами» пожирней. Вот я жизнь и налажу. Я всё же не дура. Открою свой бизнес.

И опять пошла в зал, и опять раздалось громкое:

— Сосиски — одни! Хлеба — триста. Винегрет один... Тань! Чай там у нас скипел? — костяшками маникюра пощёлкала по кнопочкам цифр и на сдачу в блюдец ириску бросила.

— Следующий!

Чайник с кипятком ведёрный, белой эмали. Прихватив тряпкой, Таня тащит его двумя руками. Уже шестой сегодня выпивают. Это сколько же люди пьют за сутки? Говорят, по два литра надо. Ну, а сколько, например, по району? Или по области? А по Сибири? По всей стране? Ой-а-а... реки. Енисей-Лена! Вспомнила, читала где-то, придёт время, и вода дороже золота будет. Слава богу, у них во дворе свой колодец. Ещё её Витюшка с покойным свёкром вырыли. Вода, как слеза. Как в Байкале.

— А я говорю, мне сдача нужна, — это у прилавка упрямится гражданка проезжая. В шляпке, в очках, из транзитных. Не хочет ириску брать. Лиза расстраивается.

— Ну сколько раз объяснять, гражданочка, — потрясла перед ней пустым блюдцем. — Нету мелочи, видите, нету, — и вторую ириску ей бросила.

Сзади торопят:

— Ладно, дамочка, отходи. Нам на поезд.

— А нам на смену. — Тянут через головы деньги. — Лиза, нам пять пива!

А дамочка как приросла, упрямится:

— Я сдачи жду. Принципиально, — и глядит в упор через очки.

«Бывают же люди такие! — Таня взгромоздила чайник на табурет. — Дались ей эти копеечные десятки!» И вдруг она увидела внизу тарелку полную-полную мелочи, под прилавком, на полочке.

— Лиза! Лиза! — Чуть чайник не скovyрнула. — Да вот же они! Вот, — и достала скорей — мелочь громко брякнула.

Пассажирка усмехнулась ехидно:

— Вот, вот. Это и требовалось доказать. Продавцы — они все ловкачи. Оттуда и хоромы у каждой растут, из мелочи этой!

А Лиза померкла вся, зло взглянула на помощницу:

— А кто тебя просил убирать, прятать? — и отвернулась. — Так. Вот вам, гражданочка, ваша сдача. Следующий!

Таня мяла тряпку в руках. Не знала, куда деваться от осуждающих взглядов очереди.

Постояла ещё молча и пошла в подсобку.

Из приёмника над её головой диктор звонко вещал:

«Дорогие друзья, дорогие слушатели! А вы помните, какой сегодня день? И для тех, кто ответит на этот вопрос, мы начинаем концерт по заявкам. Да, да, по заявкам наших доблестных воинов-артиллеристов и ракетчиков!...»

— И никогда не лезь в мои дела, — Лиза спокойно раскупоривала консервы на табуретке. — И к стойке вообще больше не подходи. А то первый и последний день тут. Поняла? — Серёжки её сердито дрожали. — А то я без тебя не знаю где что у меня стоит.

Таня, как мёртвая, машинально моет стаканы в ритме печального вальса. Раз, два, три, — раз, два, три. Думает: а может, Лиза и права? Не надо в чужие дела соваться.

А по радио давняя знакомая песня звучит, очень она Татьяне нравится. Она ещё в школе её в хоре пела. Правда, только припев:

Поле, русское по-о-оле,  
Я, как и ты, ожиданьем живу.  
Верю молчанью, как обещанью...

Вот и она верила и ждала. И послал ей Господь солдата Витюшу на счастье. И не ошибся.

А день за окном уже меркнет. И уже фонари над улицей качают жёлтый печальный свет. И где-то вдаль у депо перекликаются на запасных путях маневровые.



Таня собирала со столов в таз солонки, горчицу. Стаскивала запачканные клеёнки. Рабочий день кончился. Но с улицы всё равно то и дело стучали, дёргались. Звякал крюк на двери.

— Мне на базе шепнули, ревизия скоро. — Не обращая внимания на стук, Лиза «снямала остатки». — Надо будет всё подготовить, чтоб комар носа не подточил.

Скинув босоножки, она по стремянке залезла на стойку (ножки красивые, стройные) и выше — к буфетным полкам. Считала там банки, коробки с печением-вафлями. И шоколад «Шармель». А ещё бутылки «Краснодарского».

— Ты чего молчишь-то? Обиделась, что ли, из-за мелочи? — Усмехнулась. — Ну и дурочка. Если из-за каждой мелочи дуться... Нет, девушка. Так нельзя. Надо легче на всё смотреть, веселей. А то долго в торговле не наработаешь. Особо, если всё к сердцу брать. Я раньше тоже дурой была. Да поняла — весёлому легче живётся.

А в дверь опять застучали.

— Может, открыть? — спросила Таня.

— Да ну их, алкоголиков, к чёрту. Небось, как всегда, не допили. У нас рабочий день кончился. Весь КПД вышел.

И крикнула на весь зал: «Закрыто! Закрыто!» — И Тане: — Так. Записывай. «Крымское красное», «Таврида», двадцать четыре бутылки по ноль семьдесят пять. И «Массандра» ещё, и коньяк «Коктебель». И посмотри там сама в «винной раскладке», почём там они... Нынче из Крыма три сорта поставили. Это ж когда раньше бывало такое? А всё санкции... А вот цифр не помню. Прямо голова кругом с арифметикой этой... (А стук всё продолжался). Слушай, а вдруг это нужный кто бьётся? Ну-ка, поди, открой. Посмотри.

И Таня побежала, железный крючок живо скинула. Задвижку дёрнула.

В клубах пара ввалился квадратный заснеженный дядька в промёрзшем березенте. Загудел:

— Что, Лизавета, рано в праздник закрылась?

Он потопал на месте, и комья снега с плеч и с ног полетели на пол, зашипели на печке.

Лиза обрадовалась:

— Ой, Пётр Иванович! Вот радость-то! — и скорей со стремянки слезла. — А какой такой день сегодня? Какой праздник-то?

Он обиженно засопел, вылезая из своего твёрдого, как короб, плаща.

— Эх, девки вы, девки. Молодые, необразованные. Больно быстро всё забываете. А ведь ещё недавно ноябрь 19 числа называли гордо — День артиллерии. И ещё добавок был — «и ракетных войск»! Вся страна салютовала, праздновала. Не только города-герои. Так-то вот.

— Ой! Точно, мне бабушка говорила, — вставила Таня. — После октябрьских вскоре День артиллерии был!

Он оглянулся и увидел новую помощницу, аккуратную такую девчонку, с чёлочкой, в белом фартуке похожую на школьницу. Молча повесил у двери гремящий плащ и по-хозяйски пошел в пустой зал, сразу такой домашний, в вязаной душегрейке и в серых валенках-катанках.

В подсобке Лиза срочно достала из холодильника начатые пол-литра беленькой.

— Видала? Тоже ухажёр явился — не запылится! Только этот как раз вовремя. На ловца и зверь бежит. Бывший наш начальник станции, да и сейчас депутатствует. — Она сразу повеселела. — Вот так в каждый праздник сюда приходит. Явится и сидит, сидит, размышляет. Жена у него мегера. Сроду выпить не даст, говорит — печень его бережёт. А сын у него в Москве. Тоже шишка. Внуки уже есть. Но он, чудик, к сыну не едет. Говорит: «Сибирь свою и на Париж не сменяю»... А что тут хорошего? Дыра и дыра. Международный даже пролетает без остановки.

Она раскупорила бутылку, отёрла салфеточкой.

— Ты колбаски давай нарежь и сыру свежего. Да потоньше, покрасивей разложи.

Он молча сидел в пустом зале среди голых столов, на которые сверху кое-где уже подняты были стулья ножками вверх, и смотрел, как за окном в свете ближнего фонаря то кружится, то косо летит жёлтый снег.

— Чего ж редко заходите к нам, Пётр Иванович? Или мы для вас мелкие, не по штату? — Лиза подплыла к нему прямо лебедушкой — и стакан беленькой на тарелочке, и закуска — огурчики, свежий хлебушек.

И он очнулся от мыслей.

— Дела всё, Лиза, дела разные. — Расстегнул душегрейку. — Вот и сейчас я к тебе прямо с актива. К зиме в регионе дел снова по горло. И дороги, и свалка, и детсад. А главное, с самостроем беда, с коррупцией. Братья Ахметовы опять рвутся у реки землю под дачи присвоить. Богатые толстосумы. Ну, тоже пришлось выступить. Понервничать, покричать. У реки земля дорогая, но народная, поселковая.

Лиза присела напротив него, оперлась на красивые белые локти. Глаза блестят, и наколочка в волосах играет.

— А чего вам беспокоиться, Пётр Иванович? Как говорится, вы на заслуженном отдыхе. И человек большой. В почёте всегда. Вы своё отработали. Сидели бы дома у телевизора. Вон сколько новостей нынче, не успеваешь следить, — и стаканчик подвинула. — Как здоровье-то, печень-то как, не тревожит?

— Да ерунда. Не берёт меня, Лиза, зараза. Я ведь старый солдат — калач тёртый. — Помолчал и со значением, серьёзно так поднял стакан. — Ну что, красавица? С праздничком всенародным!

— А с каким? Какой день-то сегодня?

— Всегда это был день артиллерии. Так что, за артиллерию нашу. Не забывая девятнадцатое число.

— Ой, и правда! — подхватила она. — С праздничком, Пётр Иванович, с праздничком! У нас молодёжь тоже то и дело палит по всем улицам. Китайские фейерверки понакупают, и ну стрелять, ну пулять по дворам да по огородам... Только народ пугают. Ну, скотину ещё. А то, глядишь, и дом подожгут. Вон недавно в Талице от этой их «артиллерии» пожар был...

Но про Талицу гость слушать не захотел:

— Новых ракетных войск, Лиза, я теперь, конечно, не знаю. Нынче больно уж круто они повылазили, ошетинились мощью. Я шляпу, конечно, за это перед ними снимаю. А вот старую артиллерию я по Афгану знал хорошо...

Он шумно выдохнул и залпом опрокинул стакан.

Лиза обернулась, крикнула Тане в кухню:

— Ну, долго ты там возиться будешь? Неси давай, неси.

Он похрустел огурчиком:

— Опять новенькая, что ли? Больно часто ты их меняешь. Ну и как, ничего?

— А кто его знает, — пожала плечами Лиза. — Новый сапог по-первости всегда жмёт...

— Жмёт, да притирается. Уж про сапоги-то я, дорогуша, всё знаю. Набегался. Понатёр пятки...

Он был прост, седоват. И добродушен лицом. И, видать, по возрасту прозорлив и умён. Смотрел, как спешит к ним в фартучке новенькая с чаем, с тарелочкой и как горячий стакан жжёт ей пальцы. Улыбнулся:

— Садись, посиди с нами, красавица. Праздник ведь нынче.

Но Лиза тут же перебила, отослала помощницу:

— Иди, иди. Нечего ей тут рассиживать. Ещё клеёнки не мыты. А вы ешьте, Пётр Иванович, закусывайте. У меня всегда всё свеженькое. Вон соседи-то наши, Лужковское, какой «Мааздам» варить научились. Без санкций-то. Я только и беру ихний.

Он произнёс машинально:

— Да, сыр хороший, от импортного не отличишь, — и всё смотрел в окно, где под фонарём уже валил в треугольнике жёлтого света косо летящий, как золотистый, снег.

— А как же, Пётр Иванович, всё стараешься, стараешься, — уже поновому заговорила, словно запела, Лиза. — Сами знаете, я на этой точке уж пятый год. И всё без жалоб. Одни похвалы да грамоты. Только ведь с этого сыт не будешь... Ты тут хоть надорвись. И ведь и в ночь-полночь стучат, и днём не присядешь... И всё хочешь, как лучше. Как лучше, — вздохнула мечтательно. — Вот иконку повешу. Шторки для уюту сошью, голубенькие такие. Уже и ткань присмотрела в цветочек.

Он сидел благодушный, добрый, чуть разомлевший от выпитого.

— Да. Люблю я тут, Лизавета, посидеть у тебя вечером. Тихо, спокойно так, в своё удовольствие. А главное, на тебя посмотреть. Ты для меня вроде как живая картинка. Из прошлого. Как фотография вроде. Очень уж ты похожа на одну... — и осёкся.

Хрипловатый голос смолк в пустом зале.

— Ну, хочешь, я честно тебе признаюсь?

Но Лиза не хотела честных его признаний, сразу оборвала:

— Нет-нет, Пётр Иванович, не надо. Вы лучше пейте, отдыхайте. — Ни к чему ей были всякие откровения. — Стаканчик подвинула. — Я сейчас ещё подолью. А можно и кофейку заварить для бодрости. Мне подкинули с базы. Для своих. Ну просто супер. «Эгоист» называется.

А он как не слышит:

— Я, Лиза, в молодости Афган весь прошёл. «От звонка до звонка». Лейтенантиком был. Пехотой командовал. Попал туда необстрелянным. А кругом — и в горах, и в ущельях, и у местных по сёлам — «духи». Душманы. Вообще-то они нас, конечно, боялись. Но и уважали тоже. Мы в аулах у них даже школы строили. Но фронт есть фронт. Как-то, под Кандагаром было, в ущелье Карасук, вот в такую же зиму, в метель да в пылюку в ихнюю (аж песок на зубах скрипит) мы специально бросок на-

метили. Поскольку разведка успокоила. Мы транспорт тогда перегоняли, я начальник колонны был. Идём, значит, в свете фар, кругом ни зги... Только лучи наши прыгают впереди. Ну и растянулись. И представляешь, тут как раз духи нас и накрыли. С высоток. Хитро так сработали. Сперва головной бэтээр подбили, чтоб колонну остановить. А потом и по задним грохнули... В общем, как говорится, в клещи взяли. Врасплох. Ну и началось. Пошла плясать мясорубка. Бой, стрельба, крики, атаки, — он катал меж ладоней стакан.

Но Лизе... Лизе сейчас было совсем не до этого, не до всей этой «лирики». Она перебила его, но осторожненько так, вкрадчиво:

— Вообще-то, у меня, Пётр Иванович, есть к вам один вопросик, — взглянула ему в глаза. — На базе мне умный один человечек посоветовал место работы сменить. На время, конечно. В вагон-ресторан устроиться... Дальнего следования. Пока мой сынок в интернате... Как думаете, стоит?

Он отставил стакан, озаботился:

— А кто ж на этой точке будет? Кого сюда-то ставить?

— Ой, да полно сейчас молодых. Вон хоть бы даже и Татьяну, новенькую. Она городская, молодая, грамотная.

— А чего это ты так вдруг?

Она обиделась даже:

— Совсем не вдруг. У нас каждый член общества должен расти карьерно. А я единица бюджетная, государственная. Имею право. В книге отзывов одни благодарности. И с планом порядок, за четвёртый квартал гоню. Так что право имею на личный карьерный рост... Конечно, в системе нашей дороги. Участка нашего.

Он покивал.

— На рост право имеешь. — Но вдруг спросил: — А как с личной жизнью-то у тебя?

— Ой! — рассмеялась она. — Какая уж тут личная? Вся личность моя на общество тратится. — И серьёзней добавила: — А в управлении характеристику требуют, с прежней работы. По старинке. По стандарту, с подписью... Я набросала там кой-чего про себя на листочке, чтоб вас не затруднять.

— Набросала, значит? — повторил он и поглядел в окно. А там уже совсем не было видно фонаря, и желтоватый снег почти залепил стёкла. — А ведь сегодня, Лиза, мой праздник, День артиллерии. День спасения — он как день рождения... А девятнадцатого всегда салют гремел во всех городах-героях. И у нас гремело, в Афгане под Кандагаром... И в ущелии Карасук. Да как гремело ещё!.. И нынче надо бы там залпы дать павшим. За всех, что там полегли...

Лиза молча пошла в подсобку. Господи, как же она устала от этих гостей, как всё надоело! И вообще, зря она ему второй стакан налила. Она сняла с волос накрахмаленную наколку, на полку бросила. Красивые светлые пряди рассыпались по плечам. А улыбка стёрлась с лица:

— Ох, уж эти мне пенсионеры! Прямо слушать тошно: вечно одно и то же — про войну, про бои.

Достала початую бутылку.

— Ладно, ещё налью. Бог терпел и нам велел. А то улетит без меня вагон-ресторанчик заветный. Ковёр-самолёт мой голубенький. А с ним

и контингент мой, и денежки. — Вздохнула. — А у нас тут скорый даже не тормозит.

Таня молча перетирала и ставила вымытые тарелки, стаканы. В ритме вальса. Раз-два-три. Раз-два-три.

— Это ведь один человечек мне умный совет дал. Проси, говорит, Лиза, характеристику именно у него. Он депутат. Он и сейчас при власти. Сразу в гору пойдёшь. На ноги встанешь.

Щедрой рукой она отрезала колбасы.

— А ты, Татьяна, если хочешь, иди домой. Я сама тут управлюсь. Только печку закрой. И не забудь задвижку проверить, а то угореть недолго.

Пётр Иванович опять машинально возил стакан по столу:

— Мне ведь, Лиза, что, думаешь, — выпивка эта нужна? Нет... Я ведь, если по совести, хожу сюда на тебя поглядеть.

Лиза не сдержалась, усмехнулась лукаво:

— Ох, вы и озорник, Пётр Иваныч. Чего на меня глядеть-то? — но всё же украдкой довольно подмигнула вошедшей в зал Тане: вот, мол, даёт старик. Сто лет в обед, а туда же. — А не поздновато ли вам глядеть на меня? У вас и жена справная. И сын в столице, и внуки-наследники подрастают. А вы — туда же.

Но старик аж покраснел. Горячо вспылил:

— Дурочка!.. Да я совсем не про то! Тоже мне, чего удумала! Я ведь что сказать-то хотел?.. Уж больно ты лицом похожа на одну мою знакомую... — и тише: — Вот гляжу на тебя, и душа порой замирает — ну, она и она. А как вспомню всё — кровь в жилах стынет... — и добавил: — А без неё, Лиза, мне там просто не было света... Она в части у нас была фельдшером.

А Лиза своё:

— Да ты закусывай, Иваныч, а то захмелеешь, про просьбу мою забудешь.

Таня, присев, распахнула кочергой дверцу горячей печки. Красные отсветы пламени заплясали у неё по щекам. А гость продолжал:

— Погоди, дай сказать. Так вот, значит, тогда в ущелье Карасук снег вот так же начал валить. А она, голубка моя, в последнем БМП была. Боевая машина пехоты. Я, начальник колонны, сам её туда отослал. Сам. Думал, там безопаснее будет. Но духи как раз в метель-то и взяли нас в клещи. И такой бой начался, такие атаки пришлось отбивать, прям, мясорубка кровавая... А помогла-таки нам как раз артиллерия... Всё в снегу. Взрывы. Огонь. Машины горят. Как говорится — всё в дыму, как в Крыму. И так до рассвета. Пока ещё одна батарея не подоспела. — Он смолк, вспоминая что-то живое, до боли страшное, жуткое. — И вот, наконец, Лиза, вырвался я, побежал в конец колонны, к последней машине. Смотрю — догорает... И веришь сердцу? Споткнулся даже, ничком упал... Чёрный весь, лицо в крови, в копотии... Но она-то, родимая, ещё жива была. Жива, моя голубка. В кювете лежала. На шинели её туда оттащили. Только кровью уже хрипела. Лицо белое-белое. И всё улыбается мне, улыбается. И волосы её, вот как твои, прядями мне на ладони упали... — Он смотрел невидящим взглядом. — А главное, Лиза, была она уже на пятом месяце. Всё никак в тыл не хотела ехать. «Боюсь, говорит, тебя одного тут оставлять. И сама без тебя, говорит, в тылу боюсь оста-

ваться»... Эх, Лиза, Лиза. А до конца войны-то, до вывода наших войск, всего три месяца оставалось.

У Тани словно перехватило дыхание. Она замерла на корточках у печи. Стало слышно, как дрова, сгорая внутри, потрескивают, как живые, и осыпаются. А Лиза тотчас быстренько встала и торопливо так пошла в подсобку бумагу искать и ручку. А как же — лирика лирикой, а дело есть дело. Может, и момента такого удобного больше не подвернётся. Как говорят, куй железо, пока горячо.

Не подняв головы, он слышал, как простучали её каблучки, как она скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил. Потом выложил из кармана деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу. Лишь повторил задумчиво:

— А была она, голубка моя, на пятом месяце...

Одеваясь у дверей, не сразу смог попасть в рукава оттаявшего плаща.

И в напряжённой тишине опять стало слышно, как горячие угли в печи, шурша, сыплются, падают в поддувало.

А Лиза уже выскочила в зал с белым листком в руках:

— Да куда же вы, Пётр Иванович?! Куда вы?!

Но он распахнул дверь и, скрипя ступенями, молча ушёл в белый мороз. Растворился. Словно его и не было.

Лиза стояла растерянная, даже испуганная:

— Господи, с чего это он? — Посмотрела на деньги, потом на помощницу, сидящую у печи: — Слушай, может, это ты ему чего-то сказала? Про меня, может, чего?

Таня молчала с красным от жара лицом.

И Лиза испугалась всерьёз. Крикнула:

— Отвечай! Ты что ему тут сказала? Почему он ушёл?!

Таня упрямо глядела в печь. И вечный огонь отсветами плясал по её щекам.

— Я тебя спрашиваю, — подскочила Лиза. — Что ты ему тут сказала?

Таня поднялась и, глядя мимо неё в пустой зал, который она сегодня видела таким разным — и радостным, и шумным, и многолюдным, — спокойно произнесла:

— Я ему сказала, чтоб он не писал тебе ничего. Никогда ничего не писал, — и пошла одеваться.

Ноябрьская ночь была тихая, звёздная. Белые крыши привокзальных домов с зажжёнными окнами сияли празднично, по-новогоднему. Словно вспоминали истории своей собственной жизни. Блестела под луной уже укатанная за день колёсами и санями дорога. И по этой дороге, по морозцу, бежала домой в Заречье девушка Таня к свекрови и к мужу. Бежала с лёгким сердцем и чистой душой. Почему-то без грусти, без сожаления. А даже радостно. Вот и кончился её первый рабочий день. День артиллерии.